

Оглавление

Предисловие к четвертому изданию

Предисловие к первому изданию

Предварительные замечания

Часть I. Экономический строй

Глава 1. Первобытное хозяйство

Библиография

Глава 2. "Городское" хозяйство

Библиография

Глава 3. Торговый капитализм

Библиография

Глава 4. Крепостное хозяйство

Библиография

Глава 5. Промышленный капитализм

Библиография

Часть II. Государственный строй

Глава 6. Военно-финансовая организация

Библиография

Глава 7. Суд

Библиография

Глава 8. Центральная власть

Добавление к четвертому изданию

Библиография

Предисловие к четвертому изданию

Первоначальной задачей книжки было -- дать не только представление о постепенных изменениях общественных форм, поскольку дело касалось России, но и подвести читателя к пониманию русской современности 1914 г., так как марксистская книжка об этой современности в условиях 1914 г. представлялась явлением, а priori немислимым.

Теперь дело обстоит как раз наоборот. Марксистская книжка об СССР наших дней не только мыслима -- она до такой степени необходима, что только случайные причины могут задержать ее появление, и то лишь не надолго. По существу дела, первым таким опытом были последние главы "Азбуки коммунизма". Они устарели теперь, и очень, но их переработка -- дело совсем несложное и, повторяю, абсолютно необходимое. Предвосхищать это переработанное издание конкретных глав "Азбуки" заключительными страницами своего "Очерка" автор считает совершенно лишним.

При переработке "Очерка" автор поэтому оставил в стороне преследовавшуюся им в 1914 г. (весьма, нужно сказать, несистематически) задачу -- объяснить современность. "Очерк" теперь гораздо более историческая книжка, чем раньше. Но история русской буржуазной культуры в нем доведена до ее логического конца -- ликвидации российского империализма. Эта последняя отнюдь не была однократным событием, которое можно было бы приурочить к одной определенной дате. В области финансовой, например, ликвидация старой бумажно-денежной системы совершилась только на наших глазах, в 1924 г. В области внешних отношений последние узлы только еще развязываются.

Считаясь только с откристаллизовавшимся *результатами* общественного процесса, я намеренно опускаю здесь его *динамическую* сторону: читатели найдут ее в других моих книжках: "Русской истории в самом сжатом очерке" (ч. I--III) и "Очерках революционного движения в России" (лекции 6--10).

Главы и страницы, посвященные древнейшему периоду, оставлены без крупных перемен. Автор не нашел в литературе, вышедшей после 1914 г., ничего, что заставляло бы его подвергнуть свои тогдашние утверждения по относящимся сюда вопросам принципиальному пересмотру. Поскольку же речь идет не об основном, а о частностях, их освещает новейшая литература, приведенная в освеженных с этой целью "библиографических примечаниях". Эта последняя работа в том, что касается *журнальных* статей, была бы для меня невыполнима без любезного содействия М.В.Нечкиной, -- которой я и приношу здесь свою благодарность.

М.П.
Ноябрь 1924

Предисловие к первому изданию

Долгие десятилетия в русской исторической литературе господствовала гегелевская схема исторического развития. Как известно, согласно этой схеме, венцом исторического творения, зрелым плодом истории являлось *государство*. А так как растением интересуются ради плода, то вся история превращалась в историю государства. Все, что было на Руси до образования централизованной монархии Романовых, рассматривалось, как подготовительная ступень -- как завязь и цвет древа государственности. Все, что происходило после этого, шло от государства и случалось благодаря ему. Все русское общество, со всеми его классами, было создано государством. Государство "закрепостило" это общество, когда ему, государству, было это нужно -- оно "раскрепостило" его, когда с государственной точки зрения это стало необходимостью. Схема принесла огромную пользу -- этого нельзя отрицать. Если русские историки конца XIX в. могли разобраться в русском историческом процессе и сделать его понятным широкой публике -- то благодаря ей, гегелевской схеме. Так важны в истории даже односторонние обобщения! Но все на свете имеет свой конец. Мало-помалу в круг интересов публики -- а за нею и науки -- стало входить все больше и больше фактов, не охватываемых понятием "государственности", -- а затем и само это понятие попало в кавычки... Вспомнили, что кроме "государственности" у нас есть и была "общественность". Но попытки написать ее историю, сохраняя в общем верность гегелевской точке зрения, естественно, не могли удалиться. Новые интересы вытаскивали на свет божий новые факты -- новые факты потребовали новых точек зрения. Гегелевской схеме, уже успевшей отождествить себя с наукой, не могли понравиться молодые конкуренты. На них обрушились всею тяжестью академического презрения. Но прошел десяток лет, и с их существованием пришлось смириться.

Настоящий "Очерк" представляет собою попытку провести одну из этих схем, явившихся на смену гегелевской. Предыдущие попытки этого рода, по разным обстоятельствам, не доводились до конца. Будет ли доведен до конца наш "Очерк", это, разумеется, зависит от очень многих условий -- современная русская действительность так сложна. Но уже и выпускаемая теперь первая часть книги стремится дать, насколько возможно, *цельное* изображение *экономического* и *политического* развития России на всем протяжении ее истории. Сделать это в одной книге, и притом небольшой, можно было, конечно, только при бережливом, до скупости, отношении к фактическим иллюстрациям. Некоторые страницы могут показаться, благодаря этому, сухими: автору приходилось выбирать

между доступностью книги со стороны ее объема и доступностью в смысле легкости и занимательности чтения. Он выбрал первое.

Для тех, кто желал бы иметь больше фактических подробностей, в конце каждой главы даны краткие библиографические указания. Единственная цель, какую преследуют эти указания, -- назвать читателю книги, где подробно говорится о фактах, лишь затронутых на страницах "Очерка". "Библиография" вовсе не заменяет собою подстрочных ссылок: эти последние устранены по совершенной их ненужности в книге, предназначенной для неспециалистов; использованная автором литература далеко не ограничивается сочинениями, названными в библиографических примечаниях. Автор не пытался дать также исчерпывающего перечня литературы предмета: без *оценки* называемых книг такой перечень не имел бы никакого значения для читателя-неспециалиста; с этою оценкой библиографический отдел разросся бы до размеров самостоятельной небольшой книжки. Кое-какие критические замечания пришлось все же дать и теперь: нельзя без оговорок называть книги, о содержании которых невозможно судить по одному заглавию. Автор предвидит, что эти замечания навлекут на него укоры в "субъективности", -- пожалуй, и в "пристрастии". Что касается первого, то человеческая мысль вообще относится к области субъективного, и всякий, кто решается высказывать свои мысли, неизбежно впадает в грех "субъективности". Что же касается "пристрастия", то, думается, достаточно бегло просмотреть имена называемых в "библиографии" авторов, чтобы устранить этот упрек: названо то, что *нужно*, в интересах читателей. Если есть пробелы, то их приходится отнести на счет тех условий, в которых писалась книга, -- вдали от больших русских библиотек.

Остается сказать несколько слов об отношении выпускаемой теперь в свет маленькой книжки к большому изданию, составленному, в значительной части, тем же лицом, -- к "Русской истории с древнейших времен". Сопоставление их размеров может навести на мысль, что "Очерк" -- нечто в роде конспекта "Истории". Такое представление было бы совершенно ошибочно. "Очерк истории русской культуры" -- вполне самостоятельная работа, написанная по совсем иному плану, чем "Русская история", затрагивающая серии фактов, в последней отсутствующие, и наоборот -- не говорящая о многом, что там имеется. Две книги объединяет только одинаковое понимание русского исторического процесса.

М.Покровский
Март 1914

Предварительные замечания

Латинское слово "культура" в буквальном смысле значит "обработка". Во французском и английском языках это значение и до сих пор остается господствующим. И у нас говорят о "физической культуре" или о "культуре хлебных растений", в смысле ухода за человеческим телом, так сказать "обработки" его, или в смысле обработки земли для посева на ней хлеба. *Все, что является результатом человеческой работы*, в широком смысле может быть причислено к культуре: эту последнюю можно, стало быть, определить как совокупность всего, созданного усилиями человека, в противоположность тому, что даром, без усилий с нашей стороны, дает нам природа. И в истории культуры приходится говорить о "явлениях природы" -- таких как климат, почва, устройство поверхности и т.д., -- но не как о фактах культуры, а как о ее необходимых условиях. Потребность в пище или половой инстинкт, как явления природы, к истории культуры не относятся; но те способы, какими люди стремятся удовлетворить эту потребность и урегулировать этот инстинкт, история хозяйства, история семьи и связанной с семьею

половой нравственности могут быть предметом культурной истории; причем наличие самой потребности историком будет приниматься как данное, на таких же точно основаниях, как такими данными являются определенный климат, известное отношение воды и суши и т. п.

Собирание фактического материала для культурной истории началось чрезвычайно давно: собственно, уже "отец истории", Геродот, поскольку он в своих "Музах" описывал нравы, обычаи, учреждения различных народов, стоял на культурно-исторической точке зрения. Но как "Музам" Геродота задолго предшествовали, в качестве образчика истории, надписи египетских фараонов и вавилонских царей, восхвалявшие их подвиги, так и до сего дня многим кажется, что именно описание подвигов всякого рода и должно составлять настоящий предмет истории. Под "историей" многие и до сих пор понимают "политическую" или "прагматическую" историю -- как еще ее иначе называют, "историю событий" (название совершенно неправильное, ибо изобретение паровой машины, например, или открытие бактерий, или появление "Фауста" суть события не хуже всяких других -- но в "прагматической" истории о них не говорится). Историю же "быта" (название опять совершенно неправильное, ибо под "бытом" в обыкновенном словоупотреблении мы понимаем нечто постоянное, неподвижное, предметом же истории является именно движение, развитие) многие склонны отодвигать на второй план и рассматривать ее как какой-то придаток к "настоящей" истории. В старых учебниках вы и до сих пор найдете главы, посвященные этому "быту", сзади глав, посвященных изложению "событий", -- причем дороживший временем преподаватель без сожаления вычеркивал "бытовые" главы, ибо казенные программы на них не настаивали: лишь бы знали ученики все имена да всю хронологию. Не приходится скрывать, что к точке зрения старых казенных программ до сих пор весьма склонно присоединяться и "общество". Сплошь и рядом вы можете встретить интеллигентного родителя, который жалуется, что его сына "плохо учат истории". -- "Почему же плохо?" -- "Да вот, он не знает, в каком году умерла Екатерина II..." Объяснять дело одними устаревшими программами, стало быть, нельзя: приходится припомнить один из исторических законов, раньше всего подмеченный историками, "закон косности". Люди чрезвычайно упорно держатся раз пробитой колеи и весьма неохотно покидают ее для новых путей.

Но собирание культурно-исторического материала, дело само по себе весьма простое, в свою очередь, далеко опередило обработку этого материала. Для того чтобы написать историю культуры, мало *знать факты* -- *нужно еще знать зависимость фактов одних от других, знать, какие факты главные, какие второстепенные*. И вот, если в деле *выбора* фактов мы видели сейчас влияние исторической косности, в виде "образованной публики", то в деле *толкования* фактов та же косность принимает гораздо более опасную форму, действуя в образе самого историка. Не нужно представлять себе этого последнего каким-то бесплотным существом, воодушевляемым неким отвлеченным "научным интересом". Историк -- живой человек, т.е. человек определенной эпохи, определенной страны, определенного общественного класса: класса *господствующего*. Классам угнетенным некогда было заниматься историей, даже если бы тот или другой представитель угнетенного класса и смог приобрести соответствующую подготовку. А затем, допустив даже, что рабочий или крестьянин написал бы историю своей страны со *своей* точки зрения, кто бы стал ее печатать? Только с появлением рабочих организаций стало возможно систематическое распространение пролетарской точки зрения на историю. Но и тут эта точка зрения натолкнулась на два огромных препятствия, преодолеваемых лишь с трудом и постепенно. Первым было систематическое дискредитирование пролетарской, материалистической историографии со стороны старых, так называемых буржуазных историков (см. об этом ниже). Вторым -- более важным -- заражение самих пролетарских историков старыми буржуазными точками

зрения, наивно принимаемыми за "науку" такой же, примерно, объективности, как математика.

Господствующим классам в высшей степени свойственно *идеалистическое* объяснение истории. Идея ведь никогда не появляется перед нами в совершенно "бесплотной" форме: она всегда облекается в *слово*, устное или написанное. И эта воплотившаяся идея, в устах или под пером представителя господствующего класса, становится *силой*: хозяин приказывает работнику, работник исполняет, правительство издает закон -- его слушаются. Как же не "идея правит миром"?

Что могло быть естественнее для буржуазного историка, как принять умственный труд за главное в истории, а произведения письменности, от стихов и романов до философских трактатов и научных исследований, -- за основные культурные факты? Совершенно естественно, что история литературы оказалась самым разработанным отделом культурной истории. В литературе усмотрели не более и не менее, как отражение самого "народного духа", нисколько не стесняясь тем обстоятельством, что 90% народа не умели ни читать, ни писать, а 90% грамотных читали не Пушкина или Белинского, но "Аглицкого милорда Георга". Но этого мало: людьми умственного труда -- и это тоже было довольно естественно -- овладела та же гордыня, которая диктовала фараонам их хвалебные надписи. Им стало казаться, что это они делают историю. Что она движется исключительно работой человеческого ума в "высших" -- т.е. наиболее далеких от житейской прозы -- формах его деятельности. Что какой-нибудь поэт или философ "делают эпоху в истории". Словом, история культуры стала историей "просвещения". При этом "просветители" наивно не замечали, как много места занимают "низменные", материальные интересы даже в их собственной жизни, -- как часто творчество поэта подстрекалось просто нуждой в деньгах, а та или иная философская доктрина того или другого мыслителя объяснялась необходимостью добыть кафедру или удержать за собой уже добытую.

Мы так срослись с этой, "идеалистической", точкой зрения, что нам не без труда удастся представить себе поэзию и философию как отдаленное отражение будничных, материальных интересов и столкновений. И когда впервые было провозглашено учение "исторического материализма" -- "закон косности" обрушился на него с еще большей силой, чем на историю культуры вообще. Кто начал свою сознательную жизнь в 90-х гг. XIX столетия, может, впрочем, легко представить себе это по личным воспоминаниям.

Теперь эта борьба отбушевала давно. Современным противникам исторического материализма приходится штурмовать прочно занятые позиции -- и более искренние из них не стесняются в этом признаваться. "Одной из отличительных черт исторического самочувствия нашей эпохи является, бесспорно, *"экономизм"*, -- пишет один из таких противников. -- Без преувеличения можно утверждать, что ни одна еще историческая эпоха не сознавала с большей ясностью хозяйственной природы жизни и не склонна была в большей степени ощущать мир, как хозяйство... Экономический материализм поэтому не может быть просто отвергнут, он должен быть положительно превзойден, он не позволяет себя отбросить, но повелевает преодолеть. Он запечатлен особой исторической подлинностью и искренностью. Число фактических последователей экономического материализма гораздо больше, чем открытых и сознательных его приверженцев..."

Кому приходилось следить за специальной литературой, тот особенно оценит меткость последнего замечания. Куда только ни забирается материалистическая ересь! Вы раскрываете книгу ученого-лингвиста, проф. Гирта, об индогерманцах: филологи,

казалось бы, так должны быть далеки от экономического объяснения истории. И вы читаете: "Развитие человеческого общества в первой линии зависит от его хозяйственной формы. Настойчивые исследования последних лет показали, что ее влияние отражается не только на плотности населения какой-нибудь страны, но и на таких, казалось бы, столь далеко от нее стоящих вещах, как искусство, религия, формы семьи". Вы берете работу не менее компетентного в своей области французского ученого Дешелетта -- автора лучшего в европейской литературе руководства по доисторической археологии -- и находите чисто материалистическое объяснение происхождения культа солнца у первобытных европейцев: культ солнца явился в Европе, по мнению Дешелетта, вместе с земледелием; перемена в религиозном сознании точно соответствовала известной перемене в хозяйстве. И Гирт, и Дешелетт, вероятно, очень удивились бы, если бы им сказали, что подобного рода утверждениями они проповедуют исторический материализм. Большинству "бессознательных" исторических материалистов их точка зрения подсказана не какими-либо теоретическими рассуждениями, а просто знанием фактов и научной добросовестностью.

Ибо исторический материализм является не чем другим, как по-пыткой приложить общенаучные методы к изучению исторических явлений. Все науки начинали с того, что для объяснения соответствующих явлений подставляли известные *психические* факторы. Так, физики учили, что "природа не терпит пустоты": природа рисовалась известным живым существом, с теми или другими вкусами и привычками; физиологи объясняли явления органической жизни особого рода "жизненной силой" и т.д. Мало-помалу, по мере созревания науки, все эти объяснения сменились *механическим*: признанием того, что все явления природы связаны железной цепью необходимости и ни от чьей сознательной воли не зависят. Объяснение истории культурного развития работой человеческого сознания было последним отзвуком старонаучной теории, последним ее прибежищем: всюду необходимость -- а вот в истории-то свободная воля и дает себя чувствовать! Но уже восемнадцатый век признал, что человек есть часть природы. Физиология и психология на каждом шагу нас учат, что жизнь нашего организма и работа нашего сознания подчинены таким же железным законам, как и вся природа. *Откуда возьмется свобода в истории, раз в человеке ее нет?* А как скоро вы признаете, что человеческие действия, все те культурные факты, которые являются результатом человеческой работы, с механической необходимостью вытекают одни из других, что человек со всеми своими "идеями" ничего в процессе культурного развития изменить не может, -- а может повлиять на этот процесс, как и на всякий другой природный процесс, лишь изучив его законы; как скоро вы это признаете, всякий смысл бороться против материалистического понимания истории для вас исчезнет. Не все ли равно, что от чего зависит, литература от хозяйства или хозяйство от литературы, раз и литература и хозяйство не зависят от нашей воли, а развиваются по каким-то законам, столь же непреложным, как законы, определяющие вращение Земли вокруг Солнца? Новейшие немецкие философы, Риккерт и его школа, правильно поняли задачу, взяв весь спор исторического идеализма с историческим материализмом как спор свободной воли против необходимости: беда для них только в том, что в науке спор этот давно решен. Свободная воля осталась только в богословии и тесно с "им связанной метафизике (недаром метко прозванной в Средние века "служанкой богословия"). Но сослаться на богословие перед современной публикой -- значит погубить всякое к себе доверие. Смутно чувствуя это, некоторые из последователей названной нами сейчас школы устраняют из объяснения и свободную волю, сводя все к случаю. Но свести всю историю к игре случайностей -- значит попросту сказать: "Я в историческом процессе ничего не могу понять!"

Раз став на точку зрения исторического детерминизма, можно спорить только об одном: является ли экономическое объяснение теории наилучшим с научной точки зрения, т.е.

позволяющим с наименьшими натяжками охватить наибольшее число явлений? Ответ на это могут дать, само собою разумеется, только специальные исследования. *A priori*, раньше всякого исследования, можно только догадываться, что так как человек физиологически подчинен тем же законам, как и все органические существа, стало быть, главной его потребностью является потребность питания ("все, что живет, питается и все, что питается, живет"), а с другой стороны, его сознательная жизнь предполагает, как необходимое условие, его жизнь органическую (организм умерший лишен сознания): то потребность в поддержании организма, потребность питания, есть основная потребность человека, как и всякого другого живого существа; только после удовлетворения этой потребности он может думать о других -- и его деятельность, направленная к удовлетворению этой потребности, есть основная деятельность человека. Значит, "главными" культурными фактами являются факты экономической культуры, история хозяйства -- ибо основной задачей хозяйства является добывание пищи. Повторяем, это априорное положение может стать научной истиной только после проверки на целом ряде отдельных вопросов. До сих пор такая проверка говорила в пользу этого положения: доказано, например, что такой видный элемент музыки, как ритм, зародился в связи с работой -- имеет, стало быть, "экономическое" происхождение; что формы семьи тесно связаны с формами хозяйства -- у охотников своя семья, у скотоводов своя, а наиболее близкий и понятный нам семейный строй связан с земледелием новейшего типа -- пашней с помощью рабочего скота, вола или лошади. Наиболее ясна зависимость от хозяйственных отношений политической организации -- каждому определенному экономическому строю соответствует определенный политический строй: доказательства этому читатели найдут на последующих страницах настоящей книги. Все это делает исторический материализм наиболее надежной, наиболее плодотворной "рабочей гипотезой", какую только когда-либо имела в своем распоряжении историческая наука: из всех возможных объяснений той или другой исторической перемены ученый обязан испробовать прежде всего "экономическое" объяснение -- и, только если оно откажет, он вправе будет перейти к другим. До сих пор случаев такого отказа при добросовестном исследовании не было: но общепринятым "экономизм" стал так еще недавно, что достигнуть такой степени убедительности, какую приобрел, например, дарвинизм в биологии, материалистическому объяснению истории люка не удалось. Это неудивительно: лежащий в основе дарвинизма "трансформизм", учение об изменчивости видов, уже отпраздновал столетний юбилей, а исторический материализм завоевал себе доверие только на наших глазах. Если прибавить к этому, что дарвинизму приходилось бороться только с предрассудками религиозными, не столь могущественными в наши дни, а поперек дороги исторического материализма стоят все современные общественные предрассудки, гораздо более прочные, то остается скорее удивляться быстроте, с которою распространяется наше учение, нежели отчаиваться по поводу медленности его успехов.

Что *научное* понимание истории есть ее *материалистическое* понимание, что исторический материализм и исторический детерминизм суть одно и то же, это -- открыто или молчаливо -- признается более или менее всеми. Только в России и некоторых отсталых странах, -- напр., в Румынии, -- можно еще встретить людей, которые возможность истории как науки признают, но считают в то же время своим долгом ратовать против исторического материализма. Там, где философская мысль всего острее, в Германии, давно поняли, что нужно или отказаться от исторической науки вообще, или примириться с материалистическим ее пониманием. А так как по целому ряду причин, не имеющих к науке никакого отношения, примириться с этим для господствующих общественных кругов очень трудно, то вполне естественно, что в Германии возникло целое, весьма влиятельное, философское течение, представители которого взяли, что называется, быка за рога и заявили, что вообще *история никогда наукой стать не может*. На эту тему писались толстые книги, и развивалась эта тема с огромной эрудицией

и не без большого литературного таланта. Но, если освободить основную мысль сторонников этого направления от пышной философской терминологии и свести ее к наиболее простому и ясному выражению, получится нечто чрезвычайно скудное и, с позволения сказать, детски-наивное. История никогда не может стать наукой, гласит эта основная мысль, потому что предметом науки могут быть только явления *повторяющиеся*, в истории же мы имеем дело с фактами *индивидуальными*, которые один раз случились, и ни раньше, ни после *таких именно* фактов не было. Только *повторения* явлений дают нам возможность установить их *закон*: для того, что не повторяется, никакого закона установить нельзя. Один автор, признающий историю наукой и отчаянно борющийся в то же время с ересью исторического материализма, ответил на это так убедительно, что историческому материалисту нечего прибавить к его доводам: до такой степени несостоятельность основной мысли германских антиматериалистов ясна для самого простого ума. "Да в какой же науке нет индивидуального? -- спрашивает этот автор, -- разве в математике?"

Но уже в астрономии, например, индивидуального сколько угодно; у каждой планеты есть свои индивидуальные признаки: таких колец, как у Сатурна, нет ни у одной другой планеты; у Юпитера 5 спутников, а у Земли один; Земля обращается вокруг Солнца в 365 дней, а Марс -- в 687 и т.д., и т.д. Значит, астрономия не может быть наукой? Геология, биология точно так же имеют дело с явлениями, в сущности, однократными -- та или иная геологическая формация, тот или иной вид растений или животных существуют только однажды. Стремясь оградить публику от "вредного" исторического материализма, германские антиматериалисты, не замечая этого, упразднили все науки, кроме математики. С другой стороны, безусловная индивидуальность исторических явлений только кажущаяся -- и объясняется этот исторический мираж, главным образом, нашим фактическим невежеством. Европейские "Средние века", средневековая культура, сложившаяся на развалинах античной цивилизации, еще недавно казались чем-то "совершенно индивидуальным". Потом заметили черты сходства с ней в гомеровской Греции, -- а с открытием так называемой *эгейской* культуры стало ясно, что античная Греция начала с самого форменного "Средневековья": культура гомеровской Греции возникла на развалинах другой, гораздо более высокого порядка, существовавшей на островах Эгейского моря за 3000--2000 лет до Р.Х. Греки начали, подобно германцам, с разгрома старых цивилизованных государств, а потом устроились на их обломках. Значит, по крайней мере Южная Европа имела *два* средневековья, а не одно: два периода подъема, два следовавших за ними вторжения варваров и два вызванных этими вторжениями периода упадка. Когда будут расшифрованы памятники эгейской письменности, весьма легко может оказаться, что многое, поражавшее нас своею оригинальностью и свежестью в греческой литературе, на самом деле результат такого же "Возрождения", какое пережила Европа в XIV--XV вв. после Р.Х. Когда будут вовлечены в научный оборот истории Китая, Японии, Индо-Китая и т.д., ныне известные лишь очень поверхностно, число таких исторических повторений увеличится во много раз: о "японском феодализме", например, уже теперь можно говорить. На долю "индивидуального" останутся тогда только индивидуальности в самом тесном смысле этого слова -- личности отдельных "героев" с их подвигами. Другими словами, "история фараонов" никогда не станет наукой, историк-материалист констатирует это с особенным удовольствием. Значит, история культурных фактов не только по содержанию важнее истории "подвигов", но и методологически она выше ее, ближе к типу настоящей науки. И установлено это превосходство культурной истории ее врагами: стало быть, сомневаться в этом никак уж не приходится. Германские антиматериалисты убрали с нашей дороги много лишних бревен. Есть, говорят, однако, у истории особенность, которая сулит ей неприятную для науки перспективу: остаться вечно юной. Два главных способа научного познания -- *непосредственное наблюдение* и *опыт* -- навсегда будто бы

останутся для нее закрытыми. История может знакомиться со своим объектом только косвенно -- она не может наблюдать прошлое так именно, как оно происходило, во всей его полноте; в то же время историк всегда будет рабом своего материала -- он не сможет никогда переставить с места на место ни одной самонаименьшей детали, чтобы проверить тот или другой свой вывод. Замечание это, конечно, гораздо более серьезное и деловое, чем разговоры о "неповторяемости" исторических явлений. Нет спора -- наблюдать живьем и воочию древнеегипетскую культуру мы не можем; не можем мы произвести ради опыта хотя бы маленького крестового похода. Но все же возражение не так убийственно, как кажется на первый взгляд. Во-первых, опять-таки подавляющее большинство наук сплошь и рядом довольствуется наблюдением *косвенным*. В зоологии признаки родов и видов часто устанавливаются по скелету, т.е. на основании такой вещи, которой у живого экземпляра не увидишь: но материальные обломки погибшей цивилизации -- такой же скелет; для вымерших видов, кроме костей, по большей части и нет ничего -- да не всегда есть и целые костяки; в палеонтологии сходство с археологией почти полное. То же самое в геологии -- никто никогда не исследовал "непосредственно" всей земной коры: молчаливо предполагают, что изученные нами образчики могут служить для суждения обо всем остальном, хотя известное относится к неизвестному, как единица к миллиону. В астрономии совершенно невозможен опыт, а в психологии приложение его очень ограничено. А затем, историю в обоих этих отношениях вовсе ее так обездолена, как кажется с первого взгляда. Совершенно ошибочно, будто непосредственное наблюдение культурно-исторических фактов -- дело абсолютно невозможное: на земном шаре есть целый ряд народов, еще теперь стоящих на тех ступенях развития, которые для европейцев представляются более или менее отдаленным прошлым. За примерами ходить недалеко -- в половине прошлого XIX в. сельская поземельная община в Западной Европе существовала только в виде ничтожных остатков, тогда как в России или в Индии ее можно было наблюдать в полном цвету. В негритянских государствах Судана перед нами -- живьем Европа позднего Средневековья, с сильным развитием ремесла, цехами, первобытной бюрократией и примитивным денежным хозяйством; а Полинезия дает там столь же яркую картину непосредственно предшествующей ступени культурного развития -- так называемого "поместного хозяйства". Весь этот богатейший рудник культурного материала стал разрабатываться не больше одного поколения назад, и уже теперь для таких капитальных вопросов, как история земледелия, ремесла или денег, как история религиозных верований или семейной организации, мы имеем материал, несравнимый по своей полноте с тем, что знали ученые 60-х гг. прошлого столетия. Трудно представить себе, что даст тут "непосредственное наблюдение" к концу XX в.

Не так наглухо замкнута история и для опыта, как может показаться. Во-первых, непрерывным опытом является история текущего момента. Историк, не чуждый интереса к окружающему, на каждом шагу должен прибегать к "прогнозу", делать предсказания, которые сейчас же подтверждаются или опровергаются фактами: чем это не опыт, хотя бы и в самой грубой его форме? В тех случаях, когда мы имеем дело с явлениями, поддающимися количественному анализу, доступным статистической обработке, в этом "опыте" возможна довольно большая степень точности: всем известно, например, что промышленные кризисы предсказываются с риском ошибки, пожалуй, меньшим, чем какой существует в таких неоспоримо "естественных" науках, как метеорология. Но это ведь не прошлое; а настоящее: это не *история*, а *социология*, возразит вам читатель. Мы не видим никакой разницы между культурной историей и социологией: и та и другая отыскивают законы развития человечества как создателя культуры (можно ведь изучать развитие вида *homo sapiens* и с чисто зоологической точки зрения, -- но это не будет ни социология, ни история культуры). Социология была бы отлична от истории культуры для того ученого, который видел бы в "обществе" особого рода организм (школа

Спенсера): но эта точка зрения имеет ныне так мало сторонников, что едва ли стоит ее опровергать. Как мы увидим из дальнейшего, культурный прогресс возможен только в обществе: изолированный индивидуум (Робинзон на своем острове, например) навеки застрял бы на первых ступенях культурного развития. Отсюда история общества -- наука об обществе, и история культуры суть одно и то же. А по поводу естественно-научных методов в этой науке прибавим только одно: "опыты" возможны не только для настоящего, но и для далекого прошлого, как ни странно это звучит. Очень часто по недостатку материала историку приходится пополнять пробелы при помощи предположений и догадок, на основании аналогии с другими случаями подобного рода. И сплошь и рядом последующие открытия вполне подтверждали такие догадки. В Древнем Египте, например, долгое время отрицали наличность самой ранней культуры, так называемой "древнекаменной", *палеолитической*; египетская культура, таким образом, казалась явившейся сразу в законченном виде, без прошлого, без предварительной долгой подготовки; это давало повод ко всевозможным фантастическим предположениям о происхождении древнеегипетской цивилизации. Но сторонники однообразного всюду развития культуры не сдавались, утверждали, что и у Египта должна была быть своя древнейшая стадия -- и раскопки постепенно дали им полное оправдание: в Египте найдены были памятники древнекаменного века. "Опыт" подтвердил гипотезу.

Итак, в истории культуры применимы и непосредственное наблюдение в размерах ничуть не меньших, чем в других естественных науках, и даже опыт -- последний, правда, в размерах несравненно более скромных пока, нежели в настоящих "опытных" науках; но давно ли опыт завоевал себе право гражданства в биологии, например? Что окажется возможно через пятьдесят лет -- мы и тут представить себе не можем. Словом, нет никакого разумного основания отрицать, что *история культуры есть одна из естественных наук*, притом вовсе не столь отсталая, как иногда думают. По мере того как материалистическое понимание истории делает все большие и большие завоевания *в кругу специалистов*, наша наука все больше и больше догоняет свою ближайшую соседку и предшественницу -- биологию. И жгучий в дни нашей юности вопрос -- существуют ли "законы истории?" -- понемногу сходит со сцены: лучшее доказательство зрелости науки. Ибо ни для физика, ни для химика, ни для биолога такого вопроса, по отношению к интересующим их явлениям, не существует: *они* ищут эти законы и *открывают* их, а не спорят между собою, есть ли что искать. История культуры идет тем же путем.

Остается сказать несколько слов о плане и задачах настоящего "Очерка". Читатель уже знает, что автор его стоит на материалистической точке зрения -- *развитие русского народного хозяйства*, естественно, должно поэтому составить первую и основную часть "Очерка". К сожалению, никому в этом случае не приходится строить на более зыбком фундаменте, чем русскому историку. В то время как с историей права и учреждений России мы знакомы весьма недурно -- насколько, конечно, право и учреждение можно понять, не зная истории хозяйства, -- в то время как история русской литературы, а в последнее время даже история русского искусства дают все более и более возможности для широких культурных обобщений, истории русского народного хозяйства просто еще нет -- она не написана. Т.е. есть довольно много книжек под соответствующими заглавиями: но горе тому, кто вообразил бы, что вопросы, поставленные авторами в заголовках этих книжек, действительно в них разрешены. Для очень важных эпох -- как, например, XVIII в. -- даже факты плохо известны. Вот почему автору "Очерка", к большому его огорчению, придется быть в этой основной части более "субъективным", чем он сам желал бы, и отвести фактическим иллюстрациям в этой области несколько больше места, чем требовала бы архитектура книги: нигде, как здесь,

не приходится менее предполагать знаний у читателя, даже сравнительно подготовленного, прошедшего курс средней школы, например.

Экономическое развитие, те или другие сменяющие в истории друг друга *системы производства* дают основание для тех или других *общественных группировок*; другими словами, *история хозяйства* неразрывно связана с *историей общества*, историей возникновения и развития общественных *классов*. Социальные результаты той или иной организации производства удобнее всего рассматривать в тесной связи с этой организацией: история общественных классов войдет поэтому в ту же первую часть "Очерка". Но командующие в народном хозяйстве общественные элементы никогда не довольствуются своим фактическим преобладанием; они стремятся закрепить его навсегда путем *юридических норм*, путем обычаев, права и государственных учреждений. Право и учреждения образуют как бы твердую оболочку над жидким, текучим процессом хозяйственного развития. Время от времени хозяйству становится тесно в этой оболочке; она трескается и спадает -- обыкновенно к тому моменту, когда под ней успела уже образоваться достаточно прочная "молодая кожа". В то время как социальные отношения, являющиеся прямым воплощением отношений производства, рассматривать отдельно от последних в общем обзоре невозможно, твердую оболочку экономического процесса, право и учреждения можно изолировать и изучать отдельно: *обзор развития права и учреждений* составит самостоятельную *вторую часть "Очерка"*.

Но и формального права бывает обыкновенно недостаточно командующим классам для обеспечения их преобладания. Право в конце концов всегда опирается на материальную силу: но ни один режим в мире не устоял бы сколько-нибудь продолжительное время, если бы ему на каждом шагу приходилось обращаться к материальной силе. Эта печальная необходимость достается только на долю режимов открыто реакционных, стоящих в явном противоречии с потребностями хозяйственного развития. В большинстве случаев бывает не так: в большинстве случаев стараются выработать в подвластных "охоту к повиновению", командующие классы стараются добиться своего "добром, а не жесточью". При этом воспитании подвластных "в духе кротости и смирения" главную роль играет *религия*, -- необходимое дополнение права и государственной организации. По своему происхождению религиозные эмоции не связаны ни с хозяйством, ни с правом: в основе религии лежит факт, почти столь же физиологический, как потребность питания -- страх смерти. Это чувство историку культуры приходится принять, как данное. Но на практике изолированной религии, религии Робинзона на его острове, мы нигде не встречаем, на практике мы всегда имеем религию "обобщественную", обросшую общественными учреждениями -- неизбежными признаками всякой исторической религии являются культ и *церковь*. Если право вынуждает повиновение себе страхом материальных кар, религиозные учреждения добиваются той же цели страхом кар "нездешнего мира", тем более страшных, чем он и таинственнее и непонятнее. Лежащий в основе религии мистический страх культивируется здесь с общественными целями, религиозная организация является особой системой господства, дополняющей светскую культуру господства -- государству. Оттого в древнейшем государстве право и религия тесно переплетены друг с другом, и правовые предписания часто являются прямо в виде заповедей свыше. Относительная самостоятельность религии заставляет выделить ее в особую, и очень важную, главу истории культуры: *обзор религиозного развития русского народа* составит поэтому самостоятельную, *третью часть "Очерка"*.

Хозяйство, право и религия на ранних ступенях развития исчерпывает собою все содержание культуры -- в истории *первобытной* культуры, поэтому ни о чем более говорить и не пришлось бы. "Очерк" ставит себе задачей довести обзор культурного развития России до наших дней -- ему придется поэтому коснуться периодов, более сложных в культурном отношении. По мере развития сознательности у людей является

стремление осмыслить и понять существующее, причем эта работа -- осмысление существующего, -- начав с природы, распространяется и на общественные явления. Командующие классы хотят не просто господствовать с помощью страха человеческого и "страха божия", -- они хотят доказать себе и другим, что так и должно быть, что их господство разумно и необходимо. Классы, борющиеся за господство с теми, что в данную минуту стоят у власти, также стремятся разумно оправдать свои требования. Каждый класс вырабатывает свою *идеологию*: у экономического процесса рядом с твердой оболочкой права и туманной, мистической оболочкой религии появляется третья, идейная оболочка. Путем воспитания, в школе, мы чаще всего усваиваем именно эту последнюю под видом знакомства с подлинной действительностью, которую из-под идеологической оболочки часто трудно и разглядеть. Анализ различных идеологий составляет поэтому, даже практически, чрезвычайно важный отдел культурной истории -- особенно если принять во внимание, что и различные книги по истории культуры написаны под теми или иными идеологическими влияниями. Этому анализу в рамках русской культуры будет посвящена *четвертая* часть "Очерка". И наконец, очерк истории русской культуры не может обойтись без тех отделов, с которых история культуры как наука начала, -- без истории литературы и искусства. И то и другое так же стары, как сама культура, -- и хозяйство, и право, и религия имеют свое *эстетическое* отражение на самых ранних ступенях культурного развития. Уже в конце палеолитического периода европейской культуры, в так называемую "мадленскую" эпоху, мы имеем искусство, очень высоко стоящее в техническом отношении и, несомненно, тесно связанное с первобытной религией; а памятникам "мадленской" культуры, по определениям разных археологов, от десяти до тридцати тысяч лет! Камни молчат, а то бы мы, без сомнения, знали и мадленскую поэзию, которая, вероятно, оказалась бы не ниже поэзии современных "диких" и "полудиких" народов, давшей столько мотивов поэзии цивилизованных европейцев. Для историка-материалиста важна, конечно, прежде всего *общественная* сторона поэзии и искусства -- отражение в них тех или других общественных отношений; этому и будет главным образом посвящена *пятая* часть нашего "Очерка", причем, ввиду богатства фактического материала и сравнительно очень широкой его известности, здесь характер *общего обзора*, намечающего лишь основные линии процесса, его главные тенденции, и не претендующего сообщить какие-либо новые фактические сведения, будет по необходимости выступать наиболее отчетливо.

Для каждой ступени культурного развития хозяйство, право, религия, литература и искусство являются как одно целое -- характерные черты данной культурной *фазы* выступают всюду. Встает *вопрос*: почему мы находим нужным разрезать культурно-исторический процесс на пять вертикальных полюсов, а не рассматриваем его в порядке горизонтальных напластований, фазу за фазой? Материальная основа культуры в последнем случае была бы ведь яснее? Совершенно верно, но зато, во-первых, читателю пришлось бы не один раз от искусства переходить к хозяйству, которое на протяжении районов правового, религиозного, идеологического и т.д. давно успело уйти из круга его внимания. А затем не нужно забывать, что прошлое для нас важно главным образом для понимания настоящего; при "фазаологическом" методе и разделении книги на несколько выпусков читатель на долгое время вынужден был бы довольствоваться знакомством с фазами, более или менее отдаленными и потому менее для него важными. При "вертикальном" же делении читатель получает цельные обзоры наиболее важных отделов -- с материалистической точки зрения наиболее важных -- сразу: он видит, как современное хозяйство России развилось из его зачатков, и внимание его не дробится между различными сторонами культурного процесса. Соображения, которые, по-видимому, заставили отступить от своего принципа и самого творца "фазаологии", Мюллера-Лиера, остановившегося в конце концов тоже на вертикальном делении.

Представить же читателю "план" культурного развития удобнее всего в конце книги, в виде сжатого повторительного обзора или, еще нагляднее, в виде таблицы.

В заключение несколько слов в ответ на последний вопрос, который, наверное, уже давно задает себе читатель: что понимает автор под *русской* культурой? Думаем, что едва ли найдутся люди, которые предъявили бы к истории русской культуры требование, внушенное видом старых учебников русской *политической* истории: говорить о культуре всех народов, входящих в состав Советского Союза. Слишком уже очевидно, что украинцы, армяне, грузины, тюрки и туркестанские узбеки имели ту или другую культуру задолго до соприкосновения с русскими и выработали ее безо всякого влияния со стороны этих последних. Грандиозные остатки татарской (золотоордынской) культуры, найденные уже в советское время в нижнем Поволжье, раз и навсегда покончили с легендой о "диких степняках", которые только "опустошали и грабили". И здесь, как позже в Сибири, на Кавказе и в Туркестане, на долю нас, русских, выпала роль "колонизаторов" -- т.е., по-русски говоря, захватчиков. Но зато найдется, может быть, немало читателей, которые не прочь были бы определять "русскую" культуру по *географическому* признаку и видеть в нашем "Очерке" обзор культурного процесса, как проходил он на "классической территории русской истории" -- между четырьмя морями (Балтийским, Белым, Каспийским и Черным), к востоку от Немана и Днестра, к западу от Волги, Камы и Уральских гор. Нам пришлось бы начать со следов "ледникового человека" на этой "*классической территории*" и переходить от киевской стоянки охотников на мамонта к таинственным создателям "трипольской" культуры, а от них -- к скифам, сарматам и т.д. Мы должны отказать в этом удовольствии и себе и им. Единственным научно-ценным принципом при выделении из общекультурной массы отдельных групп и районов культурного развития является принцип *лингвистический*: культуру определяет язык, главнейшее и необходимейшее орудие культурной передачи -- орудие, без которого культура просто немыслима. Русская культура там, где говорят по-русски. На каком языке говорили "трипольцы", мы не знаем, а о скифах знаем доподлинно, что они по языку принадлежали к иранской группе -- значит, никакого отношения к русской культуре не имеют. Но так как зачатки русской культуры относятся еще к "праславянской" эпохе, когда наречия восточных славян не успели сформироваться, то об этой "праславянской" культуре придется сказать несколько слов там, где необходимо будет выяснить *происхождение* тех или других культурных приобретений, с которыми русский народ пришел в историческую жизнь.

Об авторе

ПОКРОВСКИЙ Михаил Николаевич

Выдающийся советский историк, видный деятель революционного движения и коммунистической партии. В 1891 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. В апреле 1905 г. вступил в РСДРП, активно печатался в большевистской прессе. В дни декабрьского восстания в Москве участвовал в вооруженной борьбе. Эмигрировал во Францию, где создал два крупнейших своих произведения -- 5-томную «Русскую историю с древнейших времен» и «Очерк истории русской культуры». В августе 1917 г. вернулся в Россию, принимал участие в вооруженном восстании в Москве. С 1918 г. — член правительства, заместитель наркома просвещения РСФСР. В различные годы руководил Коммунистической академией, Институтом истории АН СССР, Институтом красной профессуры. С 1929 г. — академик АН СССР.



С именем М. Н. Покровского связаны крупнейшие мероприятия по реорганизации высшей школы на коммунистических началах. При его активном участии были проведены национализация и централизация

архивных, библиотечных и музейных фондов, подготовлены и реализованы декреты о введении новой орфографии, охране памятников искусства, ликвидации безграмотности и т. д. В трудах последних лет жизни — в основном популярных учебных курсах и критических обзорах литературы — им было высказано немало как интересных и глубоких, так и противоречивых и спорных суждений о прошлом. Известное высказывание М. Н. Покровского — «история есть политика, опрокинутая в прошлое» — стало руководством к действию для целого поколения историков-марксистов